

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Литература и искусство

Орган правления Союза советских писателей СССР, Комитета по делам искусств
при СНК СССР и Комитета по делам кинематографии при СНК СССР.

№ 29 (133)

СУББОТА, 15 ИЮЛЯ 1944 года

Цена 45 коп.

Литературная слава росла. Долгие годы материальных лишений и хлопотливого сотрудничества в мелких журналах сменились сравнительной обеспеченностью и независимым положением широко признанного писателя. Но одно осталось непреодоленным — затяжная болезнь, из года в год подтачивавшая силы и здоровье.

Врач по образованию, изредка и сам лечивший больных, Антон Павлович признавал свое тяжелое состояние. Еще более неопровержимым он считал, что медицина, несмотря на большие достижения в области научной мысли, на практике не обладает радикальными средствами, которые могли бы избавить его от изнурительного недуга. Когда один из писателей спросил, какое лекарство прописал ему профессор, Чехов с добродушной улыбкой ответил:

— По-латыни это называется «Ут аликвид фиат», т. е. чтобы больной видел, что для него что-то делается. Чего же вы хотите: профессора же не боги.

Зиму 1903—1904 года Чехов провел в Москве. Он неохотно и как бы мимоходом говорил о своей болезни. Но то, что он скрывал в разговоре, предательски выдавал его внешний вид. Лицо осунулось, поблекло, на лбу залегли резкие морщинки. Заметно тронула и седина. Всего же более вызывал тревожное предчувствие частый, хриплый кашель — признак углубленного процесса в легких.

Приезд Чехова в Москву совпал с первыми всплесками революционного движения. Смелей заговорила печать, все чаще и настойчивее раздавались призывы к свержению самодержавия, подкрепленные забастовками рабочих, студенческими сходками и выступлениями прогрессивных общественных деятелей. Не оставались в стороне и театры. Художественный театр ставил пьесы, направленные против косности, бездушия буржуазного общества и мешанины ситости. — «Доктор Штокман», «Мещанин», Шли с неслабевающим успехом чеховские «Три сестры», «Пядь Вая», вызывавшие порывы уйти от серых, безрадостных

будней к настоящей жизни — деятельной и правдивой.

Одновременно готовилась постановка новой пьесы Чехова «Вишневый сад». Все это вместе взятое, после однообразной и одинокой жизни в Крыму, оживляло Чехова, и были дни, когда он поражал своей прежней беззаботной веселостью, неистощимым остроумием и юношеской непоседливостью.

Однажды Чехов отправился с поэтом Белоусовым и пишущим эти строки в ресторан, наиболее посещавшийся литераторами.

— Я почти всю молодость подражал своему духовному патрону, находясь на пище святого Антония, — шутливо сказал Чехов. — Теперь я больше не желаю противодействовать дьявольскому искушению.

За обедом речь зашла о литературе.

— Я плохо разбираюсь в современных направлениях в поэзии, — сказал Чехов. — Дело, видите ли, не в символизме и декадентстве, и не в реализме, а в живом ощущении действительности и в том, что, когда вы пишете, нужно, чтобы слова лились из души. Никакая форма и вычурные выражения не спасут, если автор не прочувствует задуманного произведения. Тем сколько угодно. Могу продать вам по пятачку за пару.

Легким движением он приложил тонкие пальцы к высокому, умному лбу, чуть склонил над столом красивую голову, как бы отдаваясь охватившей его творческой мысли, и затем сосредоточенно поглядел в глубь зала, где играл струнный оркестр.

— Вот обратите внимание, — с оживлением сказал Чехов. — Слева сидит пожилой, облезлый скрипач. Он рассеянно перевернул ноты и, видимо, сфальшивил. Я ничего не смыслю в бемолях, терциях и прочих крошечкообразных существах, состоящих музыкальный мир. В данном случае я сужу по зловому взгляду дирижера и по резким движениям пальки, направленной в сторону скрипача. Вот опять! С скрипачом что-то случилось. Вы, как поэт, предполагаете, что он страдает эпилепсией, что он страдает эпилепсией, что он страдает эпилепсией.

го Моцарта преподносят, как приправу к кушаньям. Я думаю проше: у него зубная боль или сбежала жена. В довершение всяких бед, возможно, его сегодня же выгонят из оркестра. Дома — нужда, клопы, а когда он разучивает мелодии, под окном воет дворовая собака. Подставьте под свои наблюдения определенные величины, и вот вам готов рассказ или поэма, — это уж как вам бог на душу положит.

Чуткий и внимательный к товарищам по перу, Чехов с похвалой отзывался о переводах Белоусова из Беряса.

— А вот мне трудно было бы переводить. Я так привязан к нашей, русской, жизни, что если бы речь зашла о лондонском полисмене, я непременно думал бы о московском городове. Знаете, как один немец перевел эпиграф к роману «Анна Каренина». Вместо «Мне отищение и аз воздам» у него получилось: «Меня подсаживают, и я иду с туза». По-немецки: «ас» — туз.

В Москве Чехов встречался с Горьким. Дружеские отношения между обоими писателями отличались в эту пору особой теплотой и заботливостью. Мне посчастливилось быть свидетелем этих встреч. Горький с нетерпением ждал первого представления «Вишневого сада» и часто спрашивал Чехова, когда же, наконец, состоится спектакль.

— Не знаю, — ответил Чехов. — Пока все время спорим с Станиславским. Он уверяет, что моя пьеса — лирическая драма. Это же неверно. Я написал фарс, самый веселый фарс! — Помолчав немного, он продолжал: — А, пожалуй, Станиславский прав. Когда я бываю на репетициях, я испытываю одно страдание: Станиславский на моих же глазах безжалостно сокращает сцены.

Пьеса Чехова должна была выйти в сборнике «Знание». Горький предложил Чехову выпустить ее без сокращения.

— Нет, нет, — замахал руками Чехов. — Печатайте с режиссерской правкой. Иначе это внесет путаницу при постановке другими театрами. Что ни говорите, Станиславский знает театр лучше нас с вами.

И сейчас же с обычным переходом к милой шутке добавил деланным трагическим голосом: — А вот «Мнимого больного» Мольера я не позволю ему ставить. Это будет моя режиссура. Я же доктор.

После первого представления Горький сказал Чехову:

— Озорную штуку вы выкинули, Антон Павлович. Дали красивую лирику, а потом вдруг звякнули со всего размаха топором по корневищам: к чорту старую жизнь! Теперь, я уверен, ваша следующая пьеса будет революционная.

— Я буду писать водевили, — шутливо сказал Чехов. — Может быть, даже оперетты. В первую очередь на горьковский сюжет «На дне». Сатин у меня будет петь:

Эка, эка,

Жалко человека!

Дайте мне только дожить до будущей зимы.

С обычным юмором Чехов рассказывал о том, как он с трудом получал с одной редакции по три рубля гонорара в неделю.

— Знаете, Горький, — сказал Чехов тоном глубокой убежденности, и все лицо его осветилось восторженной улыбкой, — в сущности, все это не важно. Наша бедность и недоделанность жизни — явление проходящее. Культура у нас еще очень млада. Триста лет назад Англия имела уже Шекспира, Испания — Сервантеса, а немного позже Мольер смешил Францию своими комедиями. Наши же классики начинаются только с Пушкина, всего какие-нибудь сто лет. И смотрите, мы начинаем обгонять: Тургеневым, Достоевским и Толстым зачитывается весь мир. Правда, кругом еще много темноты, скуки и всякой пошлости. Но люди уже не те. Своими страданиями и трудом они открывают дорогу чему-то новому, какой-то другой зарождающейся в муках, но радостной жизни. И в этой жизни все будет легко и весело, как весенний праздник: по земле пестрят и благоухают красивые цветы, теплый, волнующий свежестью, воздух. — Чехов сделал небольшую паузу и с тихой грустью добавил: — Хотелось бы прожить еще десяток лет, чтобы увидеть хотя бы первые лучи рассвета...